

РЕЛИГІОЗНОСТЬ ПУШКИНА.

Въ русской мысли и литературѣ господствуетъ какое то странное , частью пренебрежительное, частью равнодушное отношеніе къ духовному содержанію поэзіи и мысли Пушкина. На это указалъ уже почти 40 лѣтъ тому назадъ Мережковскій, объ этомъ твердилъ М. О. Гершензонъ, и это приходится повторить и теперь. Міросозерцаніе величайшаго русскаго поэта и «умнѣйшаго человѣка Россіи» (выраженіе Николая I), каждая строка и каждый день жизни кото-раго изслѣдованы учеными пушкиновѣдами, остает-ся и до сихъ поръ почти не изученнымъ и мало извѣстнымъ большинству русскихъ людей. Не ка-саясь здѣсь этой въ высшей степени важной об-щей темы, мы хотимъ остановиться на *религіоз-номъ сознаніи* Пушкина. Изъ всѣхъ вопросовъ «пушкиновѣдѣнія» эта тема менѣе всего изучена; она, можно сказать, почти еще не ставилась (*).

*) Въ огромной литературѣ «пушкиновѣдѣнія» сколько ни-будь серьезныхъ специальныхъ произведеній по этому вопросу, насколько мнѣ извѣстно, не существуетъ. Въ «Пушкинскомъ сбор-нику памяти Венгерова» (М. 1922) есть статья Е. Кислицыной: «Къ вопросу объ отношеніи Пушкина къ религії» — ученическая — добросовѣстная, но весьма поверхностная работа. Авторъ при-ходитъ къ выводу объ отсутствіи у Пушкина серьезныхъ религіоз-ныхъ убѣждений. Къ тому же выводу, на основаніи очень спорныхъ соображеній, склоняется В. Вересаевъ въ статьѣ «Автобіографичность Пушкина» (Печать и революція 1925, кн. 5-6). Валерій Брюсовъ, который вообще смотрѣтъ на Пушкина (по своему соб-

Междъ тѣмъ, это есть тема величайшей важности не только для почитателей Пушкина: это есть въ извѣстномъ смыслѣ проблема русскаго национального самосознанія. Ибо геній — и въ первую очередь геній — поэта — есть всегда самое яркое и показательное выраженіе народной души въ ея субстанціональной первоосновѣ. Можно прямо сказать: если бы имѣло основаніе обычное пренебрежительное и равнодушное отношеніе къ этой темѣ, — въ основѣ котораго, очевидно, сознательно или безсознательно лежитъ ощущеніе, что у Пушкина нельзя найти сколько нибудь яркаго, глубокаго и своеобразнаго религіознаго чувства и міроощущенія — то было бы поставлено подъ серьезное сомнѣніе само убѣжденіе въ религіозной одаренности русскаго народа.

Въ дѣйствительности, однако, это господствующее отношеніе, каковы бы ни были его причины, совершенно неосновательно. Въ безмѣрно богатомъ и глубокомъ содержаніи духовнаго міра Пушкина религіозное чувство и сознаніе играетъ первостепенную роль. Не пытаясь здѣсь исчерпать этой темы, я хотѣлъ бы схематически намѣтить нѣкоторые основные мотивы, въ ней содержащіеся.

Во избѣжаніе недоразумѣній, я съ самаго начала хотѣлъ бы подчеркнуть, что предлагаемый краткій очеркъ посвященъ изслѣдованію религіозной мысли или религіознаго *содержанія* духовной жизни и творчества Пушкина и не касается общаго *религіознаго духа* его поэзіи. Это — очень существенное ограниченіе. Пушкинъ есть, конечно, прежде всего — поэтъ, какъ обыкновенно

ственному подобію) какъ на чистаго «мастера» искусства стихотворства, естественно приходить къ заключенію, что похристіански-религіознымъ стихамъ Пушкина такъ же мало можно судить объ его личномъ міросозерцаніи, какъ по его обработкамъ античныхъ мотивовъ. (Пушкинъ. Сборн. II Пушкинской Комиссіи М. 1925).

говорится, «чистый поэтъ». Но «чистый поэтъ», вопреки обычному мнѣнію, есть не существо, лишенное духовнаго содержанія и чарующее нась только «сладкими звуками», а духъ, который свое основное жизнечувствіе, свою интуитивную мудрость передаетъ въ нѣкой особой поэтической формѣ. Изслѣдованіе религіознаго духа поэзіи Пушкина во всей его глубинѣ и въ его истинномъ своеобразіи требовало бы эстетического анализа его поэзіи — анализа, который быль бы «формальнымъ» въ томъ смыслѣ, что направлялся бы на поэтическую форму, но который выходилъ бы далеко за предѣлъ того, что обычно именуется «формальной критикой». Отъ этой большої и важной задачи, для осуществленія которой доселѣ въ русской критической литературѣ даны развѣ только первые наброски, мы здѣсь сознательно уклоняемся. Въ этомъ отношеніи достаточно здѣсь программатически намѣтить, что поэтическій духъ Пушкина всецѣло стоитъ подъ знакомъ религіознаго начала *преображенія* и притомъ въ типично русской его формѣ сочетающей религіозное просвѣщеніе съ простотой, трезвостью, смиреннымъ и любовнымъ благоволеніемъ ко всему живому, какъ творенію и образу Божію.

Но Пушкинъ — не только геніальный поэтъ, но и великий русскій мудрецъ; надѣемся, сейчасъ уже не нужно специально доказывать это положеніе. Изъ писемъ, дневниковъ, статей, достовѣрно переданныхъ намъ устныхъ высказываній Пушкина выступаетъ съ полной отчетливостью его умъ, поражавшій его современниковъ — умъ проницательный, трезвый и свѣжій, какъ бы его «прозаическое сознаніе», присущее ему наряду съ сознаніемъ «поэтическимъ » (*). Эти трезвые,

*) Ср. его слова въ письмѣ къ Бестужеву (1825): «Мой милый, ты — поэтъ и я — поэтъ, но я сужу болѣе прозаически и чуть ли отъ этого не правъ».

прозаической мысли, этот запас «ума холодныхъ наблюдений и сердца горестныхъ замѣтъ» Пушкинъ вносить, какъ извѣстно, и въ свою поэзію, которая насыщена мыслями, вопреки его собственному утвержденію, что «поэзія должна быть глуповатой». Эти мысли, выраженные въ прозѣ и въ поэзїи, какъ и непосредственные духовныя интуиціи, выраженные въ поэзїи Пушкина, образуютъ то, что можно назвать духовнымъ *содержаніемъ* творчества Пушкина въ узкомъ смыслѣ слова; и въ этомъ духовномъ содержаніи мы находимъ богатыя данные для познанія религіозности Пушкина.

И еще одно методологическое указаніе. Пушкинъ былъ истинно русской «широкой натурой» въ томъ смыслѣ, что въ немъ уживались крайности; едва ли не до самого конца жизни онъ сочеталъ въ себѣ буйность, разумъ, неистовство съ умудренностью и просвѣтленностью. Въ эпохи «безумныхъ лѣтъ» первой юности (1817-20) мы имѣемъ автобіографическія признанія въ стихотвореніяхъ «Деревня» и «Возрожденіе», говорящія объ освобожденіи отъ «суетныхъ оковъ», о «творческихъ думахъ», зреющихъ «въ душевной глубинѣ», о чистыхъ «видѣніяхъ», скрытыхъ подъ «заблужденіями измученной души».

Въ самую буйную эпоху жизни Пушкина въ Кишиневѣ возникаетъ автобіографичекое посланіе къ Чаадаеву, свидѣтельствующее о почти монашеской отрѣщенности и тихой умудренности внутренней духовной жизни. И въ самые послѣдніе дни своей жизни, въ состояніи бѣшенства и изступленія отъ оскорблениія, нанесенного его чести, Пушкинъ по свидѣтельству Плетнева, былъ «въ какомъ то высоко-религіозномъ настроеніи»: «онъ говорилъ о судьбахъ Промысла, выше всего ставилъ въ человѣкѣ качество благоволенія ко всѣмъ». Онъ жаждалъ убить своего обидчика Дан-

теса, ставиль условиемъ дуэли: «чѣмъ кро-
вавѣе, тѣмъ лучше», и на смертномъ одрѣ прими-
рился съ нимъ, требовалъ отъ Дантеса отказа
отъ мщенія и умеръ въ состояніи духовнаго про-
свѣтленія, потрясшаго всѣхъ очевидцевъ. Но ма-
ло того, что въ Пушкинѣ уживались эти двѣ край-
ности. Въ немъ былъ, кромѣ того, какой то чисто
русскій задоръ цинизма, типично русская форма
цѣломудрія и духовной стыдливости, скрываю-
щая чистѣйшія и глубочайшія переживанія подъ
маской напускного озорства. Пушкинъ — говоритъ
его біографъ Бартенсь — не только не заботился
о томъ, чтобы устранить противорѣчіе между нис-
шимъ и высшимъ началами своей души, но «на-
противъ, прикидывался буяномъ, развратникомъ,
какимъ-то яростнымъ вольнодумцемъ». И Бар-
теневъ мѣтко называетъ это состояніе души «юрод-
ствомъ поэта». Несомнѣнно автобіографическое
значеніе имѣетъ замѣченіе Пушкина о «притвор-
ной личинѣ порочности» у Байрона. Совершенно
безспорно, что именно выраженіемъ этого юродства
являются многочисленныя кощунства Пушкина
(относящиіяся, впрочемъ, только къ эпохѣ при-
мѣрно до 1825 г. — позднѣе они прекращаются)
— «въ томъ числѣ и пресловутая «Гавриліада».
Что это такъ, это явствуетъ уже изъ того, что «Гав-
риліада» есть кощунство не только надъ вѣрованія-
ми христіанства, но и надъ любовью, тогда какъ
лучшій истинный Пушкинъ признавался что въ тек-
ченіе всей своей жизни не могъ «на красоту взи-
рать безъ умиленья».

Къ этому надо еще присоединить, что въ из-
вѣстной мѣрѣ кощунства молодого Пушкина, яв-
ственно были протестомъ правдивой, духовно трез-
вой души поэта противъ поверхностной и лицемѣр-
ной моды на мистицизмъ высшихъ круговъ тог-
дашняго времени (Въ «Посланіи къ Горчакову»
1819 Пушкинъ сатирически поминаетъ «Лаись bla-

гочестивыхъ», «святыхъ невѣждъ, почетныхъ подлецовъ и мистика придворного кривлянья», ср. также эпиграммы на Голицына, Фотія и Стурдду).

Изъ сказанного слѣдуетъ, что «кощунства» Пушкина вообще не должны итти въ счетъ при опредѣлениі его подлиннаго серьезнаго образа мыслей и чувствъ въ отношеніи религіи. Съ другой стороны, мы имѣемъ всѣ основанія при уясненіи религіозности Пушкина принимать въ разсчетъ, какъ автобіографическій матеріалъ, всѣ серьезныя произведенія поэзіи Пушкина. Пушкинъ какъ справедливо указалъ Гершензонъ, былъ существомъ необычайно правдивымъ и въ своемъ поэтическомъ творчествѣ, онъ просто не могъ ничего «выдумывать», чего онъ не зналъ по собственному духовному опыту; художественная способность «перевоплощенія», сочувственаго изображенія чужихъ духовныхъ состояній основана у него именно на широтѣ его собственного духовнаго опыта. Такъ, подражанія корану, «Пѣснѣ пѣсней», отрывокъ «Юдифь», образы средневѣковой заказной религіозности и образы русской религіозности Пушкина представляются просто немыслимыми вѣдь сочувственаго *религіознаго* воспріятія и переживанія этихъ темъ. Споръ объ «автобіографичности» поэзіи Пушкина (*) запутанъ и заведенъ въ тупикъ поверхностнымъ и примитивнымъ представлениемъ о смыслѣ «автобіографичности» какъ у ея сторонниковъ, такъ и у ея противниковъ. Поэзія Пушкина, конечно, не есть безукоризненно точный и достаточный источникъ для *внѣшней* біографіи поэта, которою доселѣ болѣе всего интересовались пушкиновѣды; въ противномъ случаѣ пришлось бы отрицать не болѣе и не менѣе, какъ наличіе поэтическаго творчества

^{*)} Ср. упомянутую выше статью Вересаева, направленную противъ Гершензона и Ходасевича.

у Пушкина. Но она вмѣстѣ съ тѣмъ есть вполнѣ автентичное свидѣтельство содержанія его духовной жизни; къ тому же для преобладающаго большинства духовныхъ мотивовъ поэзіи Пушкина можно найти подтверждающія ихъ мѣста изъ автобіографическихъ признаній и собственныхъ (прозаическихъ) мыслей Пушкина.

* * *

Извѣстно, что въ дѣтствѣ и ранней юности Пушкинъ воспитался подъ вліяніемъ французской литературы 18-го вѣка и раздѣлялъ его общее міровозрѣніе. «Фернейскій злой крикунъ», «сѣдой шалунъ» Вольтеръ для него не только «поэтъ въ поэтахъ первый», но и «единственный старикъ», который «вездѣ великъ». («Городокъ» 1814). Среда, въ которой вращался Пушкинъ въ то время — въ лицейскую эпоху и въ Петербургъ до своей высылки — поскольку вообще имѣла «міровозрѣніе», также была проникнута настроениемъ просвѣтительского эпікуреизма въ духѣ французской литературы 18-го вѣка. Врядъ ли, однако, и въ то время духъ этотъ сколько нибудь серьезно и глубоко опредѣлялъ идеи Пушкина. Ему уже тогда противорѣчили нѣкоторыя основные тенденціи, опредѣляющія собственный духовный складъ Пушкина — доселѣ, кажется, недостаточно учитываемыя его біографами. Мы насчитаемъ *три* такія основныя тенденціи: склонность къ трагическому жизнеощущенію, религіозное воспріятіе красоты и художественного творчества и стремленіе къ тайной, скрытой отъ людей духовной умудренности. Коснемся вкратцѣ каждого изъ этихъ мотивовъ.

«Уныніемъ», «хандрай», «безнадежностью», чувствомъ тоски — словомъ, трагическимъ міроощущеніемъ полно большинство серьезныхъ лириче-

скихъ стихотвореній уже лицейской эпохи. «Дышать уныньемъ — мой удѣлъ», «моя стезя печальна и темна» «вся жизнь моя — печальный мракъ ненастья», «душа полна невольной грустной думой», и ты со мной, о лира, пріуныла, наперсница души моей болыной, твоей струны печаленъ звонъ глухой, и лишь тоски ты голось не забыла», «минѣ въ унылой жизни нѣть отрады тайныхъ наслажденій», «съ минутъ безчувственныхъ рожденья до нѣжныхъ юношества лѣть я все не знаю наслажденья, и счастья въ томномъ сердцѣ нѣть» — можно было бы исписать десятки страницъ подобными цитатами изъ лицейскихъ стихотвореній Пушкина; и было бы непростительно поверхностно видѣть въ нихъ только литературный приемъ и отраженіе моды времени — хотя бы уже потому, что по существу эти настроенія сопровождаются всю жизнь Пушкина и выражены въ самыхъ глубокихъ и оригинальныхъ увѣреніяхъ его зрѣлой лирики (ср. хотя его классическую элегію 1830 г.: «Безумныхъ лѣть угасшее веселье»). Истинно русская стихія унынія, тоски и трагизма (свою связь въ этомъ жизнеощущеніи съ национально-русской стихіей Пушкинъ самъ ясно сознавалъ: «отъ ямщика до первого поэта, мы всѣ поемъ уныло» — сказалъ онъ позднѣе) — это необходимое преддверіе къ религіозному пробужденію души — было и въ юномъ Пушкинѣ сильнѣе поверхностной жизнерадостности французского просвѣтительства.

Въ томъ же направленіи дѣйствовало, очевидно, въ немъ и первое религіозное откровеніе, данное ему отъ самого рожденія: религіозное воспріятіе поэзіи и поэтическаго вдохновенія. Вѣдѣ, гдѣ Пушкинъ говорить о поэзіи, онъ употребляетъ религіозные термины, и было бы опять таки непростительной поверхностностью видѣть въ этомъ лишь банальную условность терминологии, общепринятую *façon de parler*. Если въ концѣ

своей жизни, въ своемъ поэтическомъ завѣщаніи («Памятникъ») Пушкинъ говоритъ: «вѣнью Божію, о музѣ, будь послушна», если божественное призваніе поэзіи было всегда такъ сказать, основнымъ догматомъ вѣры Пушкина, то это настроение несомнѣнно проникаетъ его съ ранней юности. Не только въ позднѣйшихъ воспоминаніяхъ о первомъ пробужденіи поэтическаго вдохновенія, о томъ, какъ музѣ впервые стала являться ему «въ таинственныхъ долинахъ, весной, при кликахъ лебединыхъ, близъ водъ сіяющихъ въ тиши»; — но и въ раннихъ юношескихъ стихотвореніяхъ отчетливо выражено это религіозное воспріятіе поэзіи. Въ особенности ясно это высказано въ двухъ посланіяхъ къ Жуковскому, первому и единственному его учителю въ поэзіи (1818). Такія слова, какъ:

Могу ль забыть я чашь, когда передъ тобой
Безмолвный я стоялъ и молнійной струей
Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенѣла.

или глава о томъ, какъ поэтъ стремится «къ мечтательному миру» «возвышенной душой», «и быстрый холодъ вдохновенія власы подъемлетъ на чело», и какъ онъ тогда творить «для немногихъ» «священной истины друзей» — не оставляютъ сомнѣнія въ яркости и глубинѣ чисто религіознаго воспріятія красоты и поэтическаго творчества. Но этотъ духовный опытъ долженъ былъ уже рано привести Пушкина къ ощущенію ложности «просвѣтительства» и раціоналистического атеизма. И если позднѣе, въ зрѣлые годы, Пушкинъ утверждалъ, что «ничто не могло быть противоположнѣе поэзіи, какъ та философія, которой 18-ый вѣкъ далъ свое имя», ибо «она была направлена противъ господствующей религіи, вѣчнаго источни-

ка поэзіи у всѣхъ народовъ», если онъ называлъ Гельвеція «холоднымъ и сухимъ», а его метафизику «пошлой и бесплодной» — то въ этомъ сказался несомнѣнно уже опытъ юныхъ лѣтъ — опытъ столкновенія въ его душѣ рационализма съ религіознымъ переживаніемъ поэтическаго вдохновенія.

Наконецъ, столь же существенна и та глубокая, потаенная общая духовная умудренность, которая поражала Жуковскаго въ юношѣ-Пушкинѣ и о которой онъ самъ говоритъ еще въ 1817 году, какъ объ «умѣ высокомъ», который «можно скрыть безумной шалости подъ легкимъ покрывающимъ». Наличіе этого глубокаго слоя духовной жизни особенно явствуетъ изъ отношенія юнаго Пушкина къ «мудрецу» Платону, который «во глубину души вникая строгимъ взоромъ,... оживлялъ ее совѣтомъ иль укоромъ» и, по признанію самого Пушкина, въ ту пору, быть можетъ, «спасъ» его чувства. По всей вѣроятности, Чаадаевъ уже тогда вліялъ на Пушкина въ религіозномъ направлениіи или, во всякомъ случаѣ, пробудилъ въ немъ строй мыслей болѣе глубокій, чѣмъ ходячее умонастроеніе французскаго просвѣтительства. Не надо также забывать, что этотъ строй мыслей и чувствъ питался въ Пушкинѣ навсегда запавшими ему въ душу впечатлѣніями первыхъ дѣтскихъ лѣтъ, опьяненныхъ духовной мудростью русскаго народа, простодушной вѣрой Арины Родіоновны.

Спеціально проблемѣ религіозной вѣры посвящено въ ту юношескую эпоху стихотвореніе «Безвѣріе», написанное для выпускного лицейскаго экзамена (1817). Его принято считать простымъ стилистическимъ упражненіемъ съ дидактическимъ содержаніемъ и потому непоказательнымъ для духовной жизни Пушкина той эпохи. Это сужденіе кажется намъ неосновательнымъ

въ силу высказанного уже всеобщаго убѣжденія въ правдивости поэтическаго творчества Пушкина: невозможно допустить чтобы Пушкинъ писалъ по заказу на чуждую ему тему и просто лгалъ въ поэтической формѣ. Стихотвореніе — художественно, правда, относительно слабое и потому и исключченное самимъ Пушкинымъ изъ собранія сочиненій — описываетъ трагическую безнадежность сердца, неспособнаго къ религіозной вѣрѣ и призываетъ не укорять, а пожалѣть несчастнаго невѣрующаго. Въ этомъ стихотвореніи по крайней мѣрѣ одна фраза бросаетъ свѣтъ на духовное состояніе Пушкина: «умъ ищетъ Божества, а сердце не находитъ». Чрезвычайно интересно, что это сужденіе, — впрочемъ, съ существеннымъ измѣненіемъ логического ударенія, — повторяется Пушкинымъ въ 1821 г. въ его кишпневскомъ дневнике. Отмѣчая свое свиданіе съ Пестелемъ, «умнымъ человѣкомъ во всемъ смыслѣ этого слова», Пушкинъ записываетъ поразившую его и, очевидно, соответствующую его собственному настроенію мысль Пестеля: *mon coeur est materialiste, mais ma raison s'у refuse* (по другому варианту текста, эта фраза принадлежитъ даже самому Пушкину).

Намъ представляется очевиднымъ парадоксальный фактъ: Пушкинъ преодолѣлъ свое безвѣріе (которое было въ эти годы скорѣе настроениемъ, чѣмъ убѣжденіемъ) первоначально на чисто интеллектуальномъ пути: онъ усмотрѣлъ глупость, умственную поверхность обычнаго «просвѣтительнаго» отрицанія. Въ рукописяхъ Пушкина 1827-28 г. находится слѣдующая запись: «Не допускать существованія Бога — значитъ быть еще болѣе глупымъ, чѣмъ тѣ народы, которые думаютъ, что міръ покоится на носорогѣ» (*). Въ одномъ

*) Цит. Б. Модзалевскимъ, Письма Пушкина, т. I 1926, прим. стр. 314.

изъ раннихъ стихотвореній мысль о небытіи послѣ смерти, «ничтожествъ» есть для Пушкина «призракъ пустой, сердцу непонятный мракъ», о которомъ говорится: «ты чуждо мысли человѣка, тебя страшится гордый умъ».

Но самое интересное свидѣтельство отношенія молодого Пушкина къ безвѣрію содержится, конечно, въ извѣстномъ его письмѣ изъ Одессы отъ 1824 г. Для состоянія нашего пушкиновѣдѣнія характерно, что это письмо, сыгравшее, какъ извѣстно, роковую роль въ жизни Пушкина (онъ былъ за него исключенъ со службы и сосланъ изъ Одессы въ Михайловское подъ надзоръ полиціи) изслѣдовано со всѣхъ сторонъ, за исключеніемъ одной, самой существенной: никто, кажется, не потрудился задуматься надъ его подлиннымъ смысломъ, какъ свидѣтельствомъ состоянія религіозной мысли Пушкина. Вотъ соотвѣтствующія строки его: «Читая Шекспира и Библію, святой Духъ иногда мнѣ по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. Ты хочешь знать, что я дѣлаю — пишу пестрыя строфы романтической поэмы — и беру уроки чистаго аѳеизма. Здѣсь англичанинъ, глупой философъ, единственный умный аѳей, котораго я еще встрѣтилъ. Онъ исписалъ листовъ 1000, чтобы доказать, qu'il ne peut exister d'être intelligent crÃ©ateur et rÃ©gulateur — мимоходомъ уничтожая слабыя доказательства безсмертія души. Система не столь утѣшительная, какъ обыкновенно думаютъ, но, къ несчастію, болѣе всего правдоподобная».

Это письмо (отъ котораго Пушкинъ самъ позднѣе отрекался, называя его «глупымъ») обыкновенно разсматривается просто, какъ признаніе Пушкина въ его атеизмѣ. Это, конечно, справедливо (для момента написанія письма), однако, все же, съ очень существенными оговорками. Изъ самого письма слѣдуетъ, прежде всего, что Пушкинъ

«береть урокъ чистаго аєеизма» впервые въ Одес-
сѣ въ 1824 году — значитъ, что это міровоззрѣніе
серъезно заинтересовало его впервые только тог-
да и что, слѣдовательно, Пушкина до того време-
ни никакъ нельзя считать убѣжденнымъ атеистомъ.
Далѣе: указаніе, что англичанинъ , глухой фи-
лософъ» (Гетчинсонъ) кажется ему *первымъ* ум-
нымъ атеистомъ, съ которымъ ему довелось встрѣ-
титься и который на него произвелъ впечатлѣніе,
есть автентичное подтвержденіе нашего мнѣнія
о низкой интеллектуальной оцѣнкѣ Пушкинымъ
обычнаго типа безвѣрія.

Еще важнѣе, что въ то самое время, какъ онъ
береть уроки чистаго атеизма, онъ читаетъ Библію; и хотя онъ «предпочитаетъ Гете и Шекспира»,
все же «Святой Духъ» ему «иногда по сердцу». Очевидно, что «сердце» Пушкина въ это время
двоится (какъ и его мысли). Несмотря на уроки
атеизма, на него производить впечатлѣніе Свя-
щенное Писаніе — по крайней мѣрѣ, съ его поэ-
тической стороны (познѣе онъ, какъ извѣстно,
усердно читаль Библію и житія святыхъ — его
познѣйшій отзывъ объ Евангеліи см. ниже). И,
наконецъ, быть можетъ, интереснѣе всего заклю-
чительныя слова письма: «система» атеизма приз-
нается «не столь утѣшительной», какъ *обыкно-
венно* думаютъ, но, къ несчастью, наиболѣе прав-
доподобной». Ясно, что отношеніе «сердца» и «ума»
Пушкина къ религіозной проблемѣ радикально
измѣнилось: теперь его умъ готовъ признать пра-
вильнымъ аргументъ «аєя», но сердце ощущаетъ
весь трагизмъ безвѣрія — вопреки обычному для
его поколѣнія жизнепониманію, которое способ-
но находить атеизмъ «утѣшительнымъ».

Къ эпохѣ молодости Пушкина, т. е. къ пер-
вой половинѣ 20-хъ годовъ относятся такіе — увы,
доселѣ недостаточно извѣстные и оцѣненные —
перлы религіозной поэзіи, какъ отрывокъ «Вे-

чернія отошла давно» (1821), стихотвореніе «Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный» (мысль о неземномъ мірѣ, «гдѣ чистый пламень пожираетъ несовершенство бытія») (1822), отрывокъ «На тихихъ берегахъ Москвы» (1872) (религіозное описание монастыря) и «Надгробная надпись кн. Голицыну» (1823) — четверостишие, предваряющее основной мотивъ «Ангела» Лермонтова. Мы уже не говоримъ о такихъ общеизвѣстныхъ религіозныхъ произведеніяхъ этой же эпохи, какъ «Подражанія Корану», стихотворныя переложенія изъ «Пѣсни пѣсней» или описание кельи Маріи въ «Бахчисарайскомъ фонтанѣ». Эти религіозные мотивы — въ эту эпоху все же скорѣе мимолетные — находятъ свое завершеніе въ классическихъ твореніяхъ религіозно-поэтическаго вдохновенія: въ образахъ Пимена и патріарха въ «Борисѣ Годуновѣ» — и въ особенности въ «Пророкѣ» — безспорно величайшемъ твореніи русской религіозной лирики, которое, по авторитетному свидѣтельству Мицкевича, выросло у Пушкина изъ основного его жизнепониманія — изъ вѣры въ свое собственное религіозное призваніе, какъ поэта.

Съ конца 20-хъ годовъ до конца жизни въ Пушкинѣ непрерывно идетъ созрѣваніе и углубленіе духовной умудренности и вмѣстѣ съ этимъ процессомъ — наростаніе глубокаго религіознаго сознанія. Объ этомъ одинаково свидѣтельствуютъ и поэтическія его творенія и прозаическія работы, и автобіографическія записи; поистинѣ, нужна исключительная слѣпота или тенденціозность многихъ современныхъ пушкиновѣдовъ, чтобы отрицать этотъ совершенно бесспорный фактъ къ тому же засвидѣтельствованный едва ли не всѣми современниками Пушкина. Изъ поэтическихъ твореній на религіозныя темы достаточно здѣсь просто отмѣтить такие стихи, какъ «Ангель» («Въ дверяхъ эдема...») (1827), «Эпитафія

сыну декабриста С. Волконского» (1827), «Воспоминаніе» (1828), «Монастырь на Казбекѣ» (1829), «Еще одной великой важной пѣсни» (1829), «Воспоминаніе въ Царскомъ Селѣ» (1829), «Стансы митр. Филарету» (1830), «Мадонна» (1830), «Заклинаніе» (1830), «Для береговъ отчизны дальней» (1830), «Юдифь» (1832), «Напрасно я бѣгу къ сіонскимъ высотамъ» (1833), «Странникъ (изъ Буньяка)» (1834), «Когда великое свершилось торжество» (1836), «Молитвы (отцы-пустынники)» (1836). Къ концу жизни поэта этотъ процессъ духовнаго созрѣванія выродился въ глубокомъ христіански-религіозномъ настроеніи поэта, о которомъ мы уже упоминали и которое лучше всего жизненно засвидѣтельствовано потрясающимъ по своему величию послѣднимъ просвѣтленіемъ на смертномъ одрѣ. Такъ какъ проза Пушкина, къ сожалѣнію, и доселѣ мало извѣстна широкому кругу русскихъ читателей, приведемъ здѣсь слѣдующія строки (изъ отзыва о книгѣ Сильвіо Пеллики (1836): «Есть книга, коей кажется слово истолковано, объяснено, проповѣдано во всѣхъ концахъ земли, примѣнено ко всевозможнымъ обстоятельствамъ жизни и происшествіямъ міра; изъ коей нельзя повторить ни единаго выраженія, котораго не знали бы всѣ наизусть, которое не было бы уже пословицей народовъ; она не заключаетъ уже для насъ ничего неизвѣстнаго, но книга сія называется Евангеліемъ — и такова ея вѣчно новая прелестъ, что если мы, пресыщенные міромъ, или удрученные уныніемъ, случайно откроемъ ее, то уже не въ силахъ противиться ея сладостному увлечению, и погружаемся духомъ въ ея божественное краснорѣчіе». Быть можетъ, послѣдняя автобіографическая запись Пушкина (на листѣ, на которомъ написано стихотвореніе «Пора мой другъ, пора...») гласитъ: «Скоро ли перенесу я мои пены въ деревню — поля, садъ, крестьяне, книги;

труды поэтич. — семья, любовь etc... — религія, смерть» (ср. приведенное выше свидѣтельство Плещнева о «высокорелигиозномъ настроеніи» Пушкина за нѣсколько дней до смерти).

Какъ ни существенно это обращеніе Пушкина-человѣка къ религіозной вѣрѣ, еще важнѣе для уясненія его духовнаго облика религіозные мотивы его поэзіи. Религіозность поэтическаго жизнеощущенія, конечно, никогда не можетъ вмѣститься въ рамки опредѣленнаго доктринального содержанія — въ особенности же въ отношеніи Пушкина, который всегда и во всемъ многостороненъ. всякая попытка приписать Пушкину-поэту однозначно опредѣленное религіозное или философское міросозерцаніе заранѣе обрѣчена на неудачу, будучи по существу неадекватной своему предмету. Если Константина Леонтьевъ не безъ основанія упрекалъ Достоевскаго въ томъ, что онъ въ своей извѣстной рѣчи превратилъ «чувственного, языческаго, героическаго» Пушкина въ смиреннаго христіанина, то не нужно забывать, что и обратная характеристика Леонтьева, по меньшей мѣрѣ, такъ же одностороння. (Образцомъ невыносимой искусственности является попытка Гершензона конструировать систему религіозно-философскаго міросозерцанія Пушкина въ статьѣ «Мудрость Пушкина»). Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что о религіозности поэзіи Пушкина вообще нельзя сказать ничего опредѣленнаго. Напротивъ, ее можно довольно точно зафиксировать — но не иначе, какъ въ рядѣ отдѣльныхъ, проникающихъ ее, мотивовъ, которые въ своей — несводимой къ логическому единству — совокупности даютъ намъ представлениія о религіозномъ «міросозерцанії» Пушкина.

О первомъ и основномъ мотивѣ этой религіозности поэта уже было сказано выше: это есть религіозное воспріятіе самой поэзіи и сущности

поэтического вдохновенія. Нѣть надобности здѣсь снова обѣ этомъ распространяться: это бросается въ глаза само собой. Для Пушкина поэтическое вдохновеніе было, какъ уже указано, подлиннымъ религіознымъ откровеніемъ: вдохновеніе опредѣлено тѣмъ, что «божественный глаголь» касается «слуха чуднаго» поэта. Именно поэтому «служенье музъ не терпить суety: прекрасное должно быть величаво». Только изъ этого сознанія абсолютнаго религіознаго смысла поэзіи (поэта, какъ «служителя алтаря») можетъ быть удовлетворительно понять и объясненъ общеизвѣстный страстный и постоянный протестъ Пушкина противъ тенденціи утилитарно-моральнаго использованія поэзіи. Если поэзія сама уже есть «молитва» («мы рождены... для звуковъ сладкихъ и молитвъ»), то ея самодовлѣющее верховное, неприосновенное ни для какихъ земныхъ нуждъ значеніе понятно само собой! Поэтъ, подобно пророку, знаетъ лишь одну цѣль: исполнившись волей Божіей, «глаголомъ жечь сердца людей».

Съ религіознымъ воспріятіемъ поэзіи связа-
но религіозное воспріятіе красоты вообще —
ближайшимъ образомъ, красоты природы. Рели-
гіозно ощущается Пушкинъмъ «свѣтиль небесныхъ
дивный хоръ» и «щумъ морской» — «немолчный
шепотъ Нереды, глубокій, вѣчный хоръ валовъ,
хвалебный гимнъ отцу міровъ». Но и разруши-
тельная стихія наводненія есть для него «божія
стихія», такъ же, какъ мистическое, «неизъяснимое
наслажденіе — «безсмертия можетъ быть залогъ»
внушаетъ ему все страшное въ природѣ, «все, что
гибелью грозить» и бездна мрачная, и разъярен-
ный океанъ, и аравійскій ураганъ, и чума. Но
уже изъ этого ясно, что ощущеніе божественности
природы *не есть* для Пушкина пантегизмъ. На-
противъ, не разъ подчеркиваетъ онъ, что красота
природы «равнодушна», «безчувственна» къ то-

скѣ человѣческаго сердца; въ «Мѣдномъ Всадни-
кѣ» это равнодушіе природы, которое багряни-
цей утренней зари уже прикрываетъ вчерашнее
 зло наводненія, сознательно связываются съ «без-
чувствіемъ холоднымъ» человѣческой толпы. Кра-
сота и величіе природы есть слѣдъ и выраженіе
 божественнаго начала, но сердце человѣка ею не
 можетъ удовлетвориться — оно стремится къ иной,
 высшей, болѣе человѣчной красотѣ; и потому,
 хотя «прекрасно море въ бурной мглѣ и небо въ
 блескахъ безъ лазури», но «дѣва на скалѣ пре-
 краснѣй волнъ, небесь и бури».

Этимъ уже указанъ второй эстетической источ-
 никъ религіознаго жизнеощущенія — эротизмъ,
 чувство божественности любви и женской красоты.
 И здѣсь надо повторить: разъ навсегда надо нау-
 читься не принимать слова Пушкина за условно-
 банальный стиль эротической лирики, который
 онъ самъ высмѣивалъ, — а брать ихъ въ серьезъ;
 когда Пушкинъ говоритъ о Божествѣ и божествен-
 номъ, это всегда имѣть у него глубокій, продуман-
 ный и прочувствованный смыслъ. Такъ надо вос-
принимать, напр., извѣстное признаніе къ Кернѣ.
 Когда онъ воспринимаетъ женщину, какъ «генія
 чистой красоты», то вмѣстѣ съ «вдохновеніемъ,
 жизнью, слезами и любовью» для его «упоеннаго»
 сердца просыпается и «Божество». Очевидно глу-
 бокій религіозный смыслъ содержится въ гимнѣ
 совершеннай женской красоты: «Все въ ней гар-
 монія, все диво, все выше міра и страстей». Чистота
 этого религіозно-эстетического чувства совершенно
 сознательно подчеркивается поэтомъ: «куда бы
 ты не поспѣшалъ, хоть на любовное свиданье...,
 но встрѣтясь съ ней, смущенный, ты вдругъ остано-
 вишься невольно, благоговѣя богомольно передъ
 святыней красоты».

Но особенно интересно, что и въ области эро-
 тической эстетики Пушкинъ не остается замкну-

тымъ въ предѣлахъ земной дѣйствительности, а, напротивъ, именно на этомъ пути, говоря словами Достоевского «соприкасается мірамъ инымъ». У него есть цѣлый рядъ стихотвореній, въ которомъ мысль о любимой женщинѣ связывается съ мыслью о загробной жизни. Таково религіозное столь дерзновенное и человѣчески столь трогательное ожиданіе обѣщанного «поцѣлуя свиданія» умершей возлюбленной за гробомъ. Таково «заклинаніе» къ къ «возлюбленной тѣни» явиться вновь, чтобы снова выслушать признаніе въ любви. И когда безсонной ночью воспоминаніе развиваетъ передъ нимъ свой «длинный свитокъ» и въ немъ горятъ «змѣи сердечной угрызенья», двѣ тѣни любимыхъ женщинъ являются передъ нимъ, какъ два ангела «съ пламеннымъ мечемъ», «и оба говорять мнѣ мертвымъ языкомъ о тайнахъ вѣчности и гроба». Свое завершеніе эта эротическая религіозность находитъ въ извѣстной пѣснѣ о «бѣдномъ рыцарѣ», посвятившемъ свое сердце пресвятой Дѣвѣ — пѣснѣ, какъ извѣстно, вдохновлявшей Достоевского и духовно родственной основной религіозной интуиціи Софіи у Вл. Соловьева.

Однако, областью эротической и эстетической въ широкомъ смыслѣ религіозности отнюдь не исчерпывается самобытная религіозная интуиція Пушкина-поэта. Наряду съ ней у Пушкина есть еще иной источникъ спонтанного и совершенно оригинального религіозного воспріятія. Этотъ мотивъ, доселѣ, насколько мнѣ извѣстно, никѣмъ не отмѣченный (какъ и многое другое въ духовномъ мірѣ Пушкина) состоитъ въ религіозномъ воспріятіи духовной сосредоточенности и уединенія; оно связано съ культомъ «домашняго очага» и потому символизируется Пушкинымъ въ античномъ понятіи «пенатовъ». Всѣмъ извѣстно стихотвореніе «Мигъ вожделѣннаго насталъ», въ которомъ поэтъ выражаетъ свою «непонятную грусть»

при окончаніи многолѣтняго труда, «друга пенатовъ святыхъ». Упоминаніе пенатовъ здѣсь неслучайно: какъ почти всегда у Пушкина, это есть обнаруженіе общаго мотива, проходящаго черезъ все его творчество. Впервые поминаются «пенаты», какъ хранители «сѣни уединенія», незримые слушатели стиховъ поэта въ стихотвореніи «Разлука» (Кюхельбекеру 1817); отчетливо этотъ мотивъ выраженъ въ юношескомъ стихотвореніи «Домовому» (1819): «Помѣстья мирнаго незримый покровитель, тебя молю, мой добрый домовой, храни селенье, лѣсь и дикій садикъ мой и скромную семьи моей обитель!» Онъ молить домового, любить «зеленый скать холмовъ», луга, «прохладу липъ и кленовъ шумный кровъ», мотивируя это общимъ указаніемъ: «они знакомы вдохновенію». Въ альбомъ Сленину онъ пишетъ: «вхожу въ него прямымъ поэтомъ, какъ въ дружескій, пріятный домъ, почтивъ хозяина привѣтомъ и ларѣ-молитвенныемъ стихомъ». Этотъ мотивъ въ своеемъ глубочайшемъ религіозномъ напряженіи сполна раскрывается въ стихотвореніи: «Еще одной высокой важной пѣсни», которое самъ Пушкинъ называетъ «гимномъ пенатамъ», «тайственнымъ силамъ»; въ долгомъ изгнаніи, удаленный «отъ вашихъ жертвъ и тихихъ взліяній», поэтъ не переставалъ любить пенатовъ.

Такъ, я любилъ васъ долго! Васъ зову
Въ свидѣтели, съ какимъ святымъ волненіемъ
Оставилъ я людское стадо наше,
Чтобы стеречь вашъ огнь уединенный,
Бесѣдуя одинъ съ самимъ собой.
Часы неизѣяснимыхъ наслажденій!
Они даютъ намъ знать сердечну глубь,
Въ могуществѣ и въ немощахъ
Они любить, лелѣять научаютъ
Не смертныя, таинственные чувства.
И нась они наукѣ первой учать

*Чтить самого себя. О нѣть, вовѣкъ
Не переставалъ молить благоговѣйно
Вась, божества домашнія...*

Лелѣяніе «несмертныхъ, таинственныхъ чувствъ связано у поэта, такимъ образомъ, съ внутренней сосредоточенностью, съ самоуваженіемъ; оно требуетъ отрѣщенности отъ «людскаго стада», возможной лишь въ мирномъ уединеніи домашнаго очага. Весь этотъ духовный комплексъ сливаются въ культь символическихъ «домашнихъ божествъ». Въ личной жизни Пушкина воплощеніемъ «алтаря пенатовъ» были два мѣста — Михайловское и Царское Село. (Ср. «Вновь я посѣтиль..» и «Воспоминаніе въ Царскомъ Селѣ»). Въ послѣднемъ стихотвореніи античный мотивъ пенатовъ обогащается евангельскимъ мотивомъ «блуднаго сына»: поэтъ, возвратившись послѣ скитаній — вѣщихъ и внутреннихъ — къ родному мѣсту, въ которомъ впервые зародилась его духовная жизнь, ощущаетъ себя блуднымъ сыномъ, возвращающимся въ отчій домъ. «Такъ отрокъ Библіи, безумный расточитель, до капли истощивъ раскаянья фіалъ, увидѣвъ, наконецъ, родимую обитель, главой поникъ и зарыдалъ». «Родная обитель» иногда воспринимается прямо, какъ «родина», «отечество»: «намъ цѣлый міръ — пустыня, отечество намъ — Царское Село». Эта внутренняя связь между «родной обителью» и «родиной» — основанная на единомъ чувствѣ укорененности личной духовной жизни въ почвѣ, изъ которой она произросла, ея связь съ ближайшей родственной средой, которой она питается, — выражена у Пушкина въ отрывкѣ «Два чувства» въ цѣлой религіозной философіи:

*Два чувства дивно близки намъ,
Въ нихъ обрѣтаеть сердце пищу:*

Любовь къ родному пепелищу,
Любовь къ отеческимъ гробамъ.
На нихъ основано отъ вѣка
По волѣ Бога самого
Самостоянѣе человѣка
Залогъ величія его.
Животворящая святыня!
Земля была безъ нихъ мертвa,
Безъ нихъ нашъ тѣсный міръ — пустыня,
Душа — алтарь безъ божества.

Замѣчательна та философская точность и строгость, съ которой здѣсь изображена связь духовнаго индивидуализма съ духовной соборностью: «любовь къ родному пепелищу» органически связана съ любовью къ родовому прошлому, къ «отеческимъ гробамъ», и ихъ единство есть фундаментъ и живой источникъ питанія для личной независимости человѣка, для его «самостоянія», какъ единственнаго «залога его величія» (здѣсь предвосхищенъ мотивъ Н. Федорова!) Единство этого индивидуально-соборнаго существа духовной жизни пронизана религіознымъ началомъ: связь соборнаго начала съ индивидуальной, личной духовной жизнью основана «по волѣ Бога самого» и есть для души «животворящая святыня». Само постиженіе и воспріятіе этой связи опредѣлено религіознымъ сознаніемъ, тѣмъ, что Достоевскій называлъ «касаніемъ мірамъ инымъ» и что самъ Пушкинъ обозначаетъ (ср. предыдущее стихотвореніе), какъ «не смертныя, таинственные чувства» — чувствамъ, что наша душа должна быть «алтаремъ божества». Въ этомъ многогранномъ и все же цѣльномъ религіозномъ сознаніи выражается своеобразный религіозный гуманизмъ Пушкина. И не случайно одна изъ послѣднихъ личныхъ мыслей Пушкина была мысль о перенесеніи «пенатовъ» въ деревню, въ связи съ мечтой о послѣднемъ

уединеніи, религії и смерти (ср. приведенную выше запись).

Размѣры статьи не позволяютъ намъ подробнѣе прослѣдить еще одинъ мотивъ самобытной религіозности Пушкина — именно связь *нравственнаго* сознанія и нравственного очищенія души (чрезвычайно богатой темы пушкинского творчества) съ сознаніемъ религіознымъ. Это есть мотивъ, связанный съ однимъ изъ центральныхъ мотивовъ духовной жизни Пушкина вообще — съ мотивомъ духовнаго *преображенія* личности. Укажемъ лишь, что Пушкинъ на основаніи внутренняго опыта приходитъ прежде всего къ своеобразному *аскетизму*: онъ хочетъ «жить, чтобы мыслить и страдать», онъ требуетъ отъ себя, чтобы его душа была «чиста, печальна и покойна». Но этотъ аскетизмъ, по крайней мѣрѣ на высшей своей ступени (у Пушкина можно прослѣдить цѣлый рядъ его ступеней и формъ) не содержитъ въ себѣ ничего мрачнаго и ожесточеннаго: онъ означаетъ, напротивъ, *просвѣтленіе* души, побѣду надъ мятежными страстями высшихъ духовныхъ силъ благоговѣнія, любви и благоволенія къ людямъ и миру. Таково, напр. описанное въ рядѣ стихотвореній просвѣтленіе, и умиротвореніе эротической любви, ея преображеніе въ чистое умиленіе и безкорыстную любовь. Таково развитіе нравственнаго сознанія въ узкомъ смыслѣ слова отъ тяжкихъ, какъ бы безысходныхъ угрызеній совѣсти къ тихой сокрушенности и свѣтлой печали. (Ср. напр., «тяжкія думы», «въ умѣ, подавленномъ тоской», въ «Воспоминаніи» съ «сладкой тоской» тихаго покаянія въ «Воспоминаніи въ Царскомъ Селѣ»). Религіозный характеръ этого мотива духовной жизни очевиденъ и тамъ, гдѣ онъ не выступалъ отчетливо словами. Прослѣживая точнѣе этотъ духовный путь поэта, можно было бы усмотрѣть, какъ Пушкинъ, исходя изъ изложенныхъ отправ-

ныхъ пунктовъ своей самобытной религіозности, достигаетъ основныхъ мотивовъ христіанской вѣры — *смиренія* и *любви*. Языческій, мятежный, чувствіеный и героическій Пушкинъ (какъ его опредѣляетъ К. Леонтьевъ) вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживается намъ, какъ одинъ изъ глубочайшихъ геніевъ русскаго христіанскаго духа.

C. Франкъ.